

СТАНИСЛАВСКИЙ

Все знали, что он болен, что болезнь становится все более неумолимой, что каждый день можно ждать катастрофы. Все следили за его героическим единоборством со смертью, от которой он упорно отбивался год за годом, месяц за месяцем, день за днем, от которой он забаррикадировался у себя в Леонтьевском переулке. Он не мог, не хотел сдаться потому, что весь был полон идей, планов, замыслов, как будто не было этих семидесяти пяти лет, как будто не было этих сорока лет, как будто он только завтра должен был открыть Московский Художественный театр.

Окруженный почетом всего мира, уже при жизни легендарный, он мог бы сказать словами древнего латинского изречения, что он сделал, что мог, и что пусть другие сделают лучше. Всей своей деятельностью за последние годы он словно говорил обратное: «Я только начинаю свою творческую жизнь», и уходил в работу, ревнуя к молодости своей страны, не желая от нее отстать.

Он ставит «Кармен» — гениальную поэму чувства, страсти, свободы, чтобы вернуть молодость задыхающейся от мертвых штампов опере. Он увлекается Мольером, «грубым» Мольером, «шумным» Мольером с его яростной, бьющей через край буйной жизнью. Он заявляет, что надо пересмотреть Чехова, — в чеховских спектаклях тогда видна была элегическая струя, но есть ведь другая, нужно ее вызвать наружу!

Обратите внимание, какой выбор тем, какой размах идей: «Кармен», Мольер, Чехов, — разве это связано с тем, что принято называть «закатом жизни»? Это — разгар жизни, так безжалостно, безнаказанно оборванной.

Он создает молодую студию, собирает молодые, еще не испытавшие себя таланты, чтобы вместе с ними искать новых дальнейших путей в искусстве. Любимый художник, который поставил бы «Чайку», как Станиславский, уже обладал бы неувядаемой славой, а Станиславский готов вернуться к исходной точке и начинать сызнова. Он заявляет,

что над «Чайкой» надо работать совсем иначе, чем он работал некогда. Он весь в пылу исканий, весь в порыве к будущему, к искусству будущего, к театру будущего, и здесь его настигла смерть, трижды несправедливая смерть.

Он задумал четырехтомный труд, первая книга «Моя жизнь в искусстве» известна читателям, вторая скоро выйдет в свет... Он торопился писать, боясь, что не выскажет всего, что ему нужно было сказать, что ему важно было сказать, без чего он не мог покинуть своего поста. Это — итог его жизни, его художественное завещание, в котором он виден во весь свой рост.

Тема этого труда — «тайна творчества», тайна, которую нужно обнаружить. Вдохновение, которое «нисходит» на художника, которое капризно, которое неумовимо, как синяя птица, — как же приручить эту синюю птицу?! Вот дерзкая идея этого великого труда. Сознательно вызвать в себе тот «божественный глагол», который «жрецы искусства» объявляли исходящим от «высшего промысла». От человека, отвечает Станиславский, от нас с вами, от разума человеческого. Разум, который многие третируют как начало, мешающее искусству, Станиславский привлекает на службу творческому процессу. Привлекает практически, конкретно, реально. Не царство необходимости, а царство свободы. Вот идея его книги, великая идея, идея нашего века, века разума.

У Станиславского здесь обобщение собственного опыта, опыта его театра, опыта всего мирового актерского искусства, которое он жадно изучал. В Станиславском это мировое искусство актера приходит к своему самосознанию, к познанию себя. И эта идея выходит далеко за пределы искусства актера, обнимая творчество вообще, творческую природу человека.

О Станиславском сказано было, что он сочетает в себе Моцарта и Сальери. Это очень меткое наблюдение. Да, и Моцарт, и Сальери. Моцарт — натура

цельная, непосредственная, самозабвенная в своем творческом порыве, артистическая. И Сальери, который анализирует, пытается «поверить алгеброй гармонию», который хочет «ведать», что «творит».

Художник и ученый удивительно цельно живут в нем. Все, что говорится в этой книге, как будто мы уже знали в себе, но не замечали раньше. Так же, читая произведения искусства, мы узнаем те образы, на которые нам впервые указывает художник. В чем секрет этого явления? Правда, — отвечает Станиславский. Правда, которую должен искать художник. Эту правду Станиславский проповедует на всем своем творческом пути. Здесь он продолжает традиции всей русской литературы и искусства, великолепным результатом и воплощением которых — от Пушкина до Горького — является Московский Художественный театр. Если правда эта живет в душе художника, зародилась в ней, учит Станиславский, пусть он, художник, смело отправляется в путь. Станиславский не был педантом, доктринером какого-либо вида, типа, жанра искусства. Великий реалист, он понимал реализм многообразно, как многообразна природа человека. Он любил и фантастику «Синей птицы», и нежное движение человеческого сердца в чеховских спектаклях, и безудержное веселье в «Свадьбе Фигаро», и трагедию жизни в «Живом труп». Он был подлинно человеком.

Во всех его творениях — и в образах, которые он создавал, и в спектаклях, которые он ставил, и в книгах, которые он писал, — проглядывал каждый раз он сам — Константин Сергеевич, как все его звали. Проглядывала его чарующая улыбка, которая переживет его смерть и останется нам, как воспоминание о нем, улыбка, выражающая всю артистичность его натуры, его благородный ум, его человечность. Все это вечное. Поэтому неожиданна эта ожидаемая смерть в этот жаркий августовский день, в отсутствие театра, который он создал, в отсутствие соратников творческой жизни, его друзей, его учеников, до которых дойдет сегодня эта щемящая и жестокая весть...

Ю. ЮЗОВСКИЙ.